

Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2025. № 1 (29).

Dostoevsky and World Culture. Philological journal, no. 1 (29), 2025.

Научная статья / Research Article

УДК 821.161.1.0+821.111.0

ББК 83.3(2Рос=Рус)+83.3(4Вел)

<https://doi.org/10.22455/2619-0311-2025-1-197-219>

<https://elibrary.ru/UNIZKY>

This is an open access article
distributed under the Creative

Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)



© 2025. Светлана Королева

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова,

Нижний Новгород, Россия

«Пушкинская речь» Достоевского как архетекст английской пушкинистики XX века

© 2025. Svetlana B. Koroleva

Linguistics University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia

Dostoevsky's "Pushkin Speech" as the Archetext of English Pushkin Studies of the 20th Century

Информация об авторе: Светлана Борисовна Королева, доктор филологических наук, зав. научно-исследовательской лабораторией «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной идентификации», Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, ул. Минина, д. 31А, 603155 г. Нижний Новгород, Россия.
<https://orcid.org/0000-0002-7587-9027>

E-mail: svetlakor0808@gmail.com

Благодарности: Исследование выполнено в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н.А. Добролюбова при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках проекта № 24-28-00706 «Пушкин в западноевропейском каноне русской литературы: динамика и варианты осмысления (период 1920–1960-х годов)» (<https://rscf.ru/project/24-28-00706/>).

Аннотация: Статья освещает проблему влияния «Пушкинской речи» Достоевского на становление английской пушкинистики в период 1910-х–1960-х годов. Доказывается, что эта речь стала для английских работ о Пушкине архетекстом, то есть текстом, к которому во многом восходил общий для них вектор интерпретации пушкинского творчества. Утверждается, что значимость «Пушкинской речи» для представлений англичан о творчестве Пушкина определялась оформлением в Англии в 1920-е–1930-е годы «культа Достоевского» в контексте положительного внимания ко всему русскому как одновременно

экзотическому, первобытно-одухотворенному, чуждому — и своему, забытому в веках мистико-христианскому. Определяется, что в английских работах о Пушкине, написанных в этот период, «Пушкинская речь» Достоевского неизменно привлекается в качестве авторитетной и ключевой характеристики творчества поэта. Утверждается, что сочетание характеристик «национальный» (“national”) и «всечеловечный» (“omni-human”), заимствованное у Достоевского, на фоне представлений о религиозности русского народного сознания и сочувствующей человечности как высшей правде русского человека, выступало особым знаком русскости.

Делается вывод о том, что имагологический контекст, связанный с восприятием России и русского человека, тесно сплетался в английском сознании этого времени с контекстами эстетическим и политическим, что порождало, среди прочего, различные способы осмысления творчества Пушкина сквозь призму «Пушкинской речи». В интерпретативное поле толкования творчества Пушкина в векторе этого текста у английских пушкинистов вошло ассоциирование реализма пушкинской поэзии со «здравомыслием» русского народа (М. Бэринг); восприятие пушкинских произведений как живой связи между русской и европейской культурами, а мысли Достоевского о «единении всемирном» — как мысли об устремленности русской культуры к европейской (Я. Лаврин); а также признание за русской литературой, начиная с Пушкина, высочайшей степени духовной зрелости (Р. Харе).

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, «Пушкинская речь», английская пушкинистика, рецепция Достоевского в Англии, архетекст, имагологический контекст, Дж.М. Мерри, М. Бэринг, Я. Лаврин, Дж. Бейли.

Для цитирования: Королева С.Б. «Пушкинская речь» Достоевского как архетекст английской пушкинистики XX века // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2025. № 1 (29). С. 197–219. <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2025-1-197-219>

Information about the author: Svetlana B. Koroleva, DSc in Philology, Director of the International Research Laboratory “Basic and Applied Aspects of Cultural Identification,” Linguistics University of Nizhny Novgorod, Minina St., 31 A, 603155 Nizhny Novgorod, Russia.

<https://orcid.org/0000-0002-7587-9027>

E-mail: svetlakor0808@gmail.com

Acknowledgements: The research was carried out at the LUNN with a grant from the Russian Science Foundation, project no. 24-28-00706 “Pushkin in the Western European Canon of Russian Literature: Dynamics and Options for Understanding (1920–1960s)” (<https://rscf.ru/project/24-28-00706/>).

Abstract: The article highlights the problem of the influence of Dostoevsky’s “Pushkin Speech” on the development of English Pushkin studies in the period from the 1910s to the 1960s. It is argued that this speech became an archetext for English works on Pushkin, that is, a text to which the common vector of interpreting Pushkin’s work largely originated. It is demonstrated that the significance of the “Pushkin Speech” for the English intellectuals’ ideas about Pushkin’s works was determined by the formation in England in the 1920s and 1930s of the “cult of Dostoevsky” in

the context of positive attention to everything Russian as simultaneously exotic, primitively spiritual, alien – and as well as close to English culture, mystical and Christian, forgotten over the centuries. It is determined that in English works on Pushkin written during this period, Dostoevsky's "Pushkin Speech" is invariably used as an authoritative and key characteristic of the poet's work. It is argued that the combination of the characteristics "national" and "omni-human," borrowed from Dostoevsky, against the background of ideas about the religiosity of the Russian national consciousness and sympathetic humanity as the highest truth of the Russian person, acted as a special sign of Russianness.

It is concluded that the imagological context associated with the perception of Russia and the Russian people was closely intertwined in the English consciousness of that time with aesthetic and political contexts, which gave rise, among other things, to various ways of understanding Pushkin's work through the prism of the "Pushkin Speech." The interpretative field of perceiving Pushkin's work in the vector of this text among English Pushkin scholars included the association of the realism of Pushkin's poetry with "common sense" of the Russian people (M. Baring); the concept of Pushkin's works as a living connection between Russian and European cultures, and Dostoevsky's idea about "universal unity" – as thoughts about the aspiration of Russian culture to European (Ya. Lavrin); and also, recognition of the highest degree of spiritual maturity in Russian literature, beginning with Pushkin (R. Hare).

Keywords: F. Dostoevsky, "Pushkin Speech," English Pushkin studies, reception of Dostoevsky in England, archetexte, imagological context, J.M. Murry, M. Baring, Y. Lavrin, J. Bayley.

For citation: Koroleva, S.B. "Dostoevsky's 'Pushkin Speech' as the Archetext of English Pushkin Studies of the 20th Century." *Dostoevsky and World Culture. Philological journal*, no. 1 (29), 2025, pp. 197–219. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2619-0311-2025-1-197-219>

Становление английской пушкинистики как особого направления исследований русской литературы в Англии приходится на 1910-е–1960-е годы¹. В этом процессе, и особенно на начальном его этапе (в период 1910-х–1920-х годов), важную роль сыграло восприятие «Пушкинской речи» Достоевского, поскольку она значительно повлияла на общее понимание и оценку пушкинского творчества британскими критиками и писателями.

В свою очередь, глубина и вектор воздействия этого публицистического текста были обусловлены «культом» русского писателя, распространившимся в Англии между 1910-ми и 1930-ми годами. Приведем лишь несколько примеров формирования, установления этого «культа»: Констанс Гарнетт, которая к 1910-м годам перевела,

¹ Подробнее об этом см.: [Королева, 2024а].

практически, все произведения И.С. Тургенева и многие — Л.Н. Толстого, с 1912 года по 1920 год последовательно и (впервые!) полноформатно (без купюр) переложила на английский язык все романы Достоевского, начиная с «Братьев Карамазовых» [Хуснулина, 2018]. Реакцией на этот переводческий подвиг стали многочисленные высказывания авторитетных английских публицистов и писателей, включая А. Беннетт, Э.М. Форстер, К. Мэнсфилд, о русском писателе как о создателе самых «нравственных», «глубоких» и «философичных» романов современности [Королева, 2021, с. 182–183].

Можно с большой долей уверенности предположить, что если бы в это время за Достоевским в Англии (и на Западе, в целом) не закрепилась слава одного из величайших писателей мировой литературы, а за его творчеством не признавались такие характеристики как невиданная доселе психологическая глубина, эстетическая новизна и грандиозность воображения, то место его «Пушкинской речи» в формировании общих представлений британских интеллектуалов о пушкинском творчестве было бы иным.

Вместе с тем, в том новом восприятии творчества Достоевского, которое утвердилось в Англии (и на Западе) в эпоху модернизма, с точки зрения английской пушкинистики важен один смысловой признак, который обычно упускается из внимания. Это осмысление и личности писателя, и его творчества в парадигме русскости (чуждой западному менталитету) и, одновременно, различение в его «русских» чертах отзвуков «своей», родной культуры — такой, какой она была на заре ее становления. Эта идея прямо проводится влиятельным литературным критиком Л. Стрэчи и имплицитно присутствует в высказываниях таких разных (в параметрах эстетического вкуса и мировоззрения) писателей и публицистов как Э.М. Форстер и М. Бэринг.

Так, в эссе «Достоевский» (*Dostoevsky*), написанном для еженедельника «Наблюдатель» (*The Spectator*) и опубликованном в нем 28 сентября 1912 года, в связи с выходом в свет (во влиятельном издании У. Хайнеманна) в Англии «Братьев Карамазовых» (в переводе К. Гарнетт), Л. Стрэчи отмечает: «Из трех великих писателей, которые во второй половине XIX века доминировали в русской литературе» / “Of the three great writers who dominated Russian literature during the last half of the nineteenth century”, Достоевский является «наименее известным в Англии» / “the least known in England” [Strachey, 1965, p. 174]. Отталкиваясь от того факта, что

первым признание у английского читателя получил Тургенев, тогда как понимание художественной прозы Толстого пришло к англичанам постепенно, Стрэчи делает смелое предположение: это связано с теми чертами прозы Толстого, которые кардинально отличаются от выработанных европейскими писателями (“peculiar and unfamiliar qualities”). За этими же особенностями стоит не только русская литература, но и русская душа (“Tolstoy undoubtedly stands with the English public for all that is most representative not only of Russian literature, but of the Russian spirit”) [Strachey, 1965, p. 174]. Соответственно, «непривычность, исключительность, неожиданность» (“its essence seems so unfamiliar, so singular, so unexpected”) гения Достоевского в восприятии европейского читателя определяется его «русскостью»: «<...> его признают наиболее явственно русским писателем» / “<...> he is acclaimed as the most distinctively Russian of writers...” [Strachey, 1965, p. 175].

И однако, противопоставляя чуть ниже «причудливость» (extravagance) и «безумие» (frenzy) романов Достоевского традиции английского романа «изображать жизнь с позиции здравого смысла» (“to treat of life from the standpoint of common sense”) и «благо-разумия» (“sanity”), — английский критик парадоксальным образом приходит к выводу об их глубинном сходстве: «Достоевский, со всей его увлеченностью предметами ненормальными и чрезмерными, глубоко разумный и человеческий писатель» / “Dostoevsky, with all his fondness of the abnormal and the extraordinary, is a profoundly sane and human writer” [Strachey, 1965, p. 177]. Находит Стрэчи и более явную для себя параллель между творчеством Достоевского и традициями английской литературы — в ренессансной поэзии и драматургии, в том числе, в пьесах Шекспира (упоминаются «Король Лир» и «Буря»): «Нужно обратиться к елизаветинской драматургии, чтобы найти авторов, по духу творчества подобных Достоевскому» / “<...> it is to the Elizabethan dramatists that one must turn to find kindred spirits with Dostoevsky”. «То громадное и мощное вдохновение, которым наполнена <...> поэзия английского Ренессанса, кажется, продолжает дышать и гореть в романах современного русского писателя» / “The same vast and potent inspiration which filled <...> those poets of Renaissance England still seems to breathe and burn through the novels of the modern Russian” [Strachey, 1965, p. 179].

Схожим образом, в книге Э.М. Форстера «Аспекты романа» (*Aspects of the Novel*, 1927), увидевшей свет на 15 лет позже эссе

Стрэчи, утверждается, что Достоевский — писатель совершенно особенный, писатель-пророк, поскольку его произведения проникнуты «состраданием и любовью»² (“pity and love”), а в его реалистичных «характерах и ситуациях» «проглядывает бесконечность» / “the characters and situations <...> infinity attends them” [Forster, 1985, p. 132]. В то же время Форстер доказывает, что в этом качестве (литературы как пророчества, связанного с духом христианства) творчество русского писателя родственно произведениям таких гениев англосаксонской литературы как Д.Г. Лоуренс, Э. Бронте и Генри Мелвилл, и тут же подчеркивает, что в героях Достоевского есть нечто очень русское³.

В этом контексте⁴ неудивительно, что первая англоязычная публикация «Пушкинской речи» Достоевского вошла в состав книги с некоторыми другими, подобранными в ключе «русскости» и «раннехристианской духовности», частями «Дневника писателя». Действительно, в небольшом по объему издании «Достоевский. Страницы из дневника автора» (*Dostoyevski. Pages from the journal of an author*), вышедшей в США, в Бостоне, в 1916 году⁵, выборочно представлены 4 части «Дневника»: «Сон смешного человека» (открывает книгу), и три «пушкинских» выступления: «Объяснительное слово» к «Пушкинской речи», сама «Пушкинская речь» и «Придирка к случаю», содержащая ответы А. Градовскому на его высказывания об этой речи. Причем последние три части объединены общим заголовком «Пушкин» (*Pushkin*).

Выбор этих частей для книги, как поясняет один из со-переводчиков и автор предисловия, связан, несмотря на этот общий заголовок, совсем не с Пушкиным. Предисловием и самой структурой книги еще до знакомства с «Пушкинской речью» Достоевского англоязычному читателю предлагается увидеть в Пушкине центральную для Достоевского фигуру русской литературы и (или)

² Другой возможный вариант перевода — «жалостью и любовью».

³ О поведении Мити в тюрьме, например, говорится: «очень по-русски» / “very like a Russian in fact”. См.: [Forster, 1965, p. 133].

⁴ О М. Бэринге речь пойдет ниже.

⁵ О значимости этой книги для рецепции творчества Достоевского и особенно о живости отклика англоязычной аудитории на перевод «Пушкинской речи» свидетельствует тот факт, что она («Пушкинская речь») в этом переводе была перепечатана в книге “Great essays of all nations” [Pritchard, 1929a, p. 732–744], а также в издании “From Confucius to Mencken” [Pritchard, 1929b, p. 732–744].

alter ego писателя и одновременно понять Пушкина-Достоевского через призму «Сна смешного человека».

Прежде чем переходить к комментированию предисловия, в котором даются ключи к пониманию выбора и соединения этих частей «Дневника писателя» в теле одной книги, представляется важным уделить внимание личности со-переводчиков. Это необходимо сделать как с точки зрения определения их места в британской культуре эпохи модернизма, так и с точки зрения описания своеобразия их творческих взаимоотношений. С.С. Котелянский — российский эмигрант еврейского происхождения, выходец из Волынской губернии Российской империи, обосновавшийся в 1911 году в Лондоне, — во второй половине 1910-х годов не только занял место «знатока» классической и современной русской литературы в среде британских интеллектуалов, но и сыграл заметную переводческую, посредническую роль в формировании представлений о ней в Англии⁶. В тесном сотрудничестве с писательницей К. Мэнсфилд и ее мужем, писателем и литературным критиком Джоном Миддлтоном Мерри, а также с Д.Г. Лоуренсом и Леонардом и Вирджинией Вулф С.С. Котелянский осуществил переводы с русского девяти томов различного содержания для издательства Леонарда и Вирджиния Вулф «Хогарт Пресс». Многие из них, как и перевод частей «Дневника писателя», раскрывали личность уже знаменитых в Англии русских авторов в (авто)биографической перспективе.

Если С.С. Котелянский был широко признаваем британскими интеллектуалами-модернистами как знаток и тонкий ценитель классической и современной русской литературы (выбор текстов для со-перевода, как правило, был за ним, от него же исходила инициатива по осуществлению редакции его чернового перевода кем-то из членов «Блумберийского кружка»), то его со-переводчик и автор предисловия к «Страницам» из «Дневника писателя» Джон Миддлтон Мерри был одним из наиболее видных и авторитетных литературных критиков в Англии. В разное время он был редактором или возглавлял литературные журналы «Ритм» (*Rythm*), «Атенеум» (*Atheneum*), «Адельфи» (*Adelphi*), выступал постоянным рецензентом «Литературного приложения» газеты «Таймс» (*Times Literary*

⁶ См. подробнее о С.С. Котелянском и британских интеллектуалах-модернистах: [Королева, 2021, с. 189–191]; [Rogachevskii, 2000].

Supplement), писал о современных ему авторах, о Китсе и Шекспире, а в 1916 году выпустил «пионерскую» монографию «Федор Достоевский. Критическое исследование» (*Fyodor Dostoevsky. A critical Study*).

Предисловие к своей монографии о Достоевском он открыл цитатой из «Пушкинской речи» Достоевского с указанием на ее «завершающую» роль в его творчестве (“the famous speech on Pushkin which was the end of the work of his life”) и с четким обозначением своей цели: написать о «пророческом» значении творчества русского писателя для английской культуры — в том же духе, в котором сам Достоевский говорит о «пророческом» значении Пушкина для русской культуры (“to think of what may be prophetic for us in it”) [Murry, 1916a, p. v]. Заканчивает же Мерри свое предисловие, действительно, пророчеством: «Русская мысль, которая обновит [должна обновить] человечество, нашла свое наиболее совершенное выражение в романах Достоевского» / “The Russian thought which shall renew humanity found its most perfect expression in Dostoevsky’s novels” [Murry, 1916a, p. xii].

Глубину и направленность возможного обновления человечества, о котором пророчествуют романы Достоевского, Мерри описывает в «Эпилоге» своей монографии, снова вовлекая в свои рассуждения «Пушкинскую речь». Он выдвигает дискуссионную мысль о том, что вера Достоевского в обновление человечества была верой в неизбежность чуда (“Dostoevsky believed that the regeneration of mankind rested upon a miracle; and he believed that the miracle was inevitable”) и, определяя «веру», «отчаяние» и «человеческое естество» фундаментом творчества писателя, отстаивает тезис о его величии: «<...> эта вера отчаяния — единственная вера, которая имеет значение для современного мира. Верить в то, во что верил Достоевский, означает не отказ от чего-либо в человеческом естестве⁷, но, скорее, полное его воплощение. В отчаянном и смелом воплощении человеческого естества заключено величие Достоевского» / “<...> the belief of despair is the only one which has a real meaning for the modern world. To believe in that which Dostoevsky believed is to have abrogated nothing of one’s humanity; it is rather to have fulfilled

⁷ “Humanity” здесь, как представляется, следует понимать именно как «человеческое естество», то есть сложный состав человеческой природы, многообразие ее индивидуальных проявлений, которые не регламентируются ни общественным, ни духовным законом.

humanity. In this desperate and courageous fulfillment of humanity lies Dostoevsky's greatness" [Murry, 1916a, p. 260]⁸. В подтверждение своего тезиса Мерри цитирует слова писателя о «всечеловечности» ("universal", "omni-human" [Murry, 1916a, p. 260]) Пушкина, о типе «русского скитальца» ("the Russian wanderer" [Murry, 1916a, p. 261]), созданного им, и уточняет: желание «не только утешения для себя, но счастья для всего человечества» ("seeks not merely a consolation for his personal longings, but happiness for all men" [Murry, 1916a, p. 261]) было в нем самом — в Достоевском, и он ощущал это желание как нечто глубинно русское. Заключает же Мерри свое размышление о «пророчестве» Достоевского замечанием, по-своему размыкающим «русское» на «общечеловеческое»: мечтая «восстановить» «русский дух», Достоевский воззвал к «человеческому сознанию» как таковому / "He took his stand, not on the Russian mind, but on human consciousness itself" [Murry, 1916a, p. 261].

Собственно, эта же концепция высказана и во вступительной статье Мерри к переводам из «Дневника писателя». Здесь также красной линией проходит мысль о вере Достоевского в обновление человечества ("the birth of a new humanity"⁹) [Murry, 1916b, p. xiii] и дается общая концепция его духовных исканий. По мысли Мерри, русский писатель в самой глубине своей личности движется между страшными «снами» о себе и человеке как таковом ("It is not so very different from the universal legend of Paradise", "we are all queer fellows dreaming" [Murry, 1916b, p. x–xi]), мечтами о райском блаженстве, вечным отчаянием от осознания его недостижимости ("the eternal recurrence which threatens human minds and human destinies" [Murry, 1916b, p. xii]) и «надеждой» на «спасение» мира, на перерождение человечества, которое должно прийти «из России» ("salvation should descend upon the world from Russia") [Murry, 1916b, p. xiv].

Наиболее обобщенным образом страшных снов и мечтаний о блаженстве¹⁰ является, по мысли Мерри, приводимый в книге

⁸ Ср.: В предисловии к «Страницам из дневника автора» Мерри сравнивает Достоевского с Ницше в степени отчаяния, с которым они оба пророчествовали о пути человечества от блаженства цельного и гармоничного существования к падению в бездну эгоистических импульсов и гордого самосознания. См.: [Murry, 1916b, p. xii].

⁹ Будучи близким другом Д.Г. Лоуренса, Мерри мечтал именно об обновлении человечества, восстановлении его в гармонии эмоционально-чувственной, телесной и интеллектуальной природы человека, а не о его биологическом перерождении в ницшеанском духе.

¹⁰ Мерри так говорит об этом «итоговом», по его мнению, тексте: "The very title might serve for an account of the whole of Dostoevsky's life and work" [Murry, 1916b, p. x].

«Сон смешного человека» (*The Dream of a Queer Fellow*); высшей же формой «надежды» — его «Пушкинская речь». Кроме того, что она ясно выразила его чаяния об общем перерождении человечества, с ней — и на этом Мерри завершает свое предисловие — Достоевский «наконец, завоевал место, которое принадлежало ему по праву. Он стал великим писателем земли русской» / “With it he finally conquered the position which had always been his due. He became the great writer of the Russian land” [Murry, 1916b, p. xiv].

Взгляд Мерри на «Пушкинскую речь» Достоевского, таким образом, сфокусирован на духовном облике личности русского писателя, а также косвенно на его отношениях с русским миром и западной культурой. Для Мерри это речь великого писателя о самом себе, его самых сокровенных чаяниях, его вере в Россию и — в чудо перерождения человечества. Излишне говорить, что в сопоставлении Достоевского с Ницше, в подчеркивании его «патриотизма» (“Dostoevsky was a Russian patriot” [Murry, 1916b, p. xiii]) как ориентированности на ценность самобытной русской культуры, в его философской универсальности, также как в весьма специфической интерпретации его «русской идеи» как идеи «перерождения» или даже «рождения нового человечества»¹¹ сказываются многочисленные контексты английской культуры эпохи модернизма, включая ницшеанский, русофильский, эстетический. Так или иначе, в этих размышлениях о «Пушкинской речи» сам Пушкин оказывается в тени гигантской (в восприятии западного, британского интеллектуала той эпохи) фигуры Достоевского и, одновременно, становится его своеобразным alter ego, предстает освященным славой гениального писателя и учителя жизни.

Разумеется, в английских книгах историко-литературного характера, написанных в это время, место Пушкина в русской литературе определяется иначе. И все же роднит эти тексты с публицистикой Мерри не только то, что «Пушкинская речь» Достоевского, как правило, привлекается в качестве характеристики творчества поэта, но и то, что Достоевский в этом случае всегда выступает как безусловный авторитет. Кроме того, само сочетание характеристик «русский» (“Russian”) и «всечеловечный» (“omni-human”) [Murry, 1916a, p. 260], которое Мерри берет из «Пушкинской речи» и при-

¹¹ Ср. цитаты, приведенные выше: “Dostoevsky spent his final strength in the effort to create a new life and a new man”; “the birth of a new humanity”; “The Russian thought which shall renew humanity...”; “the regeneration of mankind”.

кладывает к самому Достоевскому, на фоне представлений (сформированных во многом через восприятие романов Достоевского) о религиозности русского народного сознания и сочувствующей человечности как высшей правде русского человека¹², выступает знаком сугубой русскости или в отношении к автору «Пушкинской речи» (у Мерри), или к самому Пушкину (у английских пушкинистов, вслед за Достоевским). Иными словами, за этим общим вектором в трактовке идейно-ценностного «ядра» творчества Достоевского и Пушкина в английской литературной критике 10-х–20-х годов проглядывает специфический имагологический контекст, который трудно вычлениить российскому исследователю.

Это касается, в том числе, размышлений о личности и творчестве Пушкина в научно-популярных книгах, сыгравших ключевую роль в формировании пушкиноведения в Англии в начале XX века. Речь идет о работах Мориса Бэринга (Maurice Baring) — английского дипломата, журналиста, поэта, писателя, переводчика, искреннего русофила [Володько, 2018]; [Королева, 2024б]; [Супрун, 2007] и, по всей видимости, военного разведчика [Степанов, 2014, с. 352], прожившего в России около 7 лет (с 1905 по 1912 годы) и прекрасно владевшего русским языком.

Личность Пушкина и вопросы пушкинского творчества он осветил в двух своих научно-популярных трудах, изданных ранее первой англоязычной публикации «Пушкинской речи» Достоевского и посвященных истории русской литературы: «Вехи русской литературы» (*Landmarks in Russian literature*, 1910) и «Очерк истории русской литературы» (*An Outline of Russian Literature*, 1914). Первый из них лег в основу предисловия к оксфордской антологии русской поэзии (*The Oxford book of Russian Verse*, 1925), составленной им для серии «Оксфордских антологий» национальной поэзии и выдержавшей в течение 1920-х–1960-х годов 3 издания в первой редакции и 5 изданий во второй.

Следами бэринговской концепции пушкинского творчества отмечены, в частности, монографии «Пушкин и русская литература» (*Pushkin and Russian Literature*, 1947) и «От Пушкина к Маяковскому. Исследование литературной эволюции» (*From Pushkin to Mayakovsky. A Study in the Evolution of a Literature*, 1948) Янко Лаврина (Yanko Lavrin) — профессора славистики в университете Ноттингема; книга

¹² См. об этом, в частности: [Королева, 2021, с. 163–176].

профессора Лондонского университета Ричарда Харе (Richard Hare) «Русская литература от Пушкина до наших дней» (*Russian literature from Pushkin to the Present day*, 1947); труд профессора Оксфордского университета Джона Бейли (John Bayley) «Пушкин. Компаративное исследование» (*Pushkin. A comparative commentary*, 1971). Более того, в монографии «главного спеца по русской литературе для англофонов» [Ефимов, 2019] Д.С. Мирского «Пушкин» (*Pushkin*, 1926) из всех русских критических источников выделена только «знаменитая Речь 1880» (“Address of 1880”) Достоевского, тогда как из всех англоязычных — работы о Пушкине М. Бэринга. О «Пушкинской речи» Мирский говорит как о тексте, который «должен быть прочитан» (“must be read”), поскольку он, обладая «огромной творческой силой» (“great imaginative power”), имел «бесконечно сильное влияние» на самых разных читателей (“its action on the Russian (and German) mind has been incalculably great” [Mirsky, 1926, p. 238]). Пушкиноведческие же работы Бэринга описаны как «безусловно лучшие из вещей, написанных о Пушкине на английском (и любом другом иностранном языке)» / “By far the best thing on Pushkin in English (and in fact in any foreign language) is the pages devoted to him by Mr. Maurice Baring” [Mirsky, 1926, p. 239].

Отнести ли безусловную значимость «Пушкинской речи» Достоевского для каждой из этих работ к «следам влияния» Бэринга или же приписать это явление воздействию того большого контекста, о котором речь шла выше, вопрос несущественный (скорее всего, речь должна идти о взаимодействии всех этих факторов). В любом случае, не только у Бэринга, но в английской пушкинистике в целом «Пушкинская речь» становится архетекстом, к которому восходят важнейшие параметры в характеристике творчества русского поэта.

Нельзя при этом не отметить, что, как и для Мерри, для Бэринга «встреча» с романами Достоевского была очень личным, духовно наполненным событием. В книге своих воспоминаний Бэринг говорит о прочтенных в Манчжурии (по всей видимости, на русском языке) романах «Идиот» и «Братья Карамазовы» в терминах религиозного опыта: «эти две книги были откровением» / “these two books were a revelation” [Baring, 1922, p. 293]. Отметим, что для англичанина, в сознательном возрасте перешедшего в католичество и называвшего это событие главным в своей жизни, такая лексика не может не быть маркером духовной значимости. Неслучайно, обобщая частные наблюдения над поэтикой романов Достоевско-

го в соответствующей главе своего «Очерка», Бэринг утверждает центральную для себя мысль: «величие» русского писателя определяется «божественным светом» (“Dostoyevsky is great because of the divine message he gives”), «божественной аурой евангельской любви» (“the divine aura of love that is in the Gospels”), которые изливаются со страниц его романов [Baring, 1915, p. 222].

Собственно говоря, отсылки к философско-публицистическим суждениям Достоевского на страницах многих других книг Бэринга и особенно образ писателя в стихотворении «Достоевский» (*Dostoyevsky*) (из сборника «Стихотворения. 1914–1919» (*Poems. 1914–1919*, 1920) свидетельствуют о том, что в русском писателе Бэринг видит не только гениального писателя, но и пророка-«тайновидца» — того, который (цитируя поэтические строки Бэринга) «исцелил болящего и сделал боязливого смелым» (“You healed the sore, you made the fearful brave”) и который:

wandered in the uttermost abyss;
And there, amidst the ashes and the dust,
You spoke no word of anger or of pride;
You found the prints of steps divine to kiss
<...> [Baring, 1920].

скитался в безднах беспредельных
И там, среди пепла и праха,
Не произнес ни слова гордости иль злобы,
Но увидел следы Его ног — и поцеловал
их <...>¹³

Закономерен и в этом биографическом, и в социокультурном контексте, описанном выше, тот факт, что рассуждения Бэринга о Пушкине и русском народе и в «Истоках», и в «Очерке» опираются на известные тезисы «Пушкинской речи» Достоевского. Так, соотносясь со словами русского писателя о том, что повсюду у поэта «слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь» [Достоевский, 1972–1990, т. 26, с. 144], и одновременно переосмысливая их, Бэринг утверждает: «Достоевский, говоря о Пушкине, подчеркивает как одно из важнейших оснований считать его великим поэтом то, что тот признавал имманентной чертой уважение русского народа к себе» / “And Dostoevsky, in writing about Pushkin, says that one of this poet’s chief claims to greatness is that he recognized the intrinsic quality of self-respect in the Russian people” [Baring, 1914, p. 41–42]. Фактически, от концепции пушкинской веры в духовную силу русского народа, непосредственно связанную с православным

¹³ Подстрочный перевод мой. — С.К.

жизнечувствием, английский писатель, исследователь, опираясь на Достоевского и переиначивая его на свой лад, уходит в сторону концепции рационального оправдания Пушкиным русского национального характера. В круг контекстов, сказавшихся в своеобразии этого понимания Достоевского, можно включить и рациональность европейского (в том числе, английского — по сути своей протестантского) мышления, и стремление «оправдать» русский народ в борьбе с негативными стереотипами, закрепившимися за мифологическим (имагологическим) образом России¹⁴, и личный опыт вхождения Бэринга в русскую культуру и жизнь.

Неслучайно в книге о русском народе (*The Russian People*, 1911) ему представляется необходимым настойчиво проводить мысли о том, что русские, как и европейцы, являются арийцами, противостоящими Востоку и покоряющими Восток, и что в русском человеке доминантной чертой является «человечность» (“humane”) в сочетании со «стоицизмом» (“stoicism”), «яростной энергией» (“fierce energy”) и «адаптивностью» (all-round adaptability) [Baring, 1911, p. 40, 54].

В контексте борьбы Бэринга с негативно окрашенным образом России имагологическую маркированность в его главе о Пушкине приобретает интерпретация другого тезиса Достоевского: о том, что Пушкин воплощает в себе ту «способность всемирной отзывчивости», которая является «главнейшей способностью нашей национальности» и которую он «разделяет с народом нашим» [Достоевский, 1972–1990, т. 26, с. 145]. Близко держась смысла этого тезиса из «Пушкинской речи», Бэринг делает выраженный акцент на русскости пушкинского гения: «И это как раз та все-объемлющая человечность — Достоевский называет ее всечеловечностью — та способность к пониманию всего и всех, которая делает его [Пушкина] настолько подлинно русским» / “And it is just this all-embracing humanity — Dostoyevsky calls him *πανάνθρωπος* — this capacity for understanding everything and everybody, which makes him so profoundly Russian” [Baring, 1915, p. 96].

Насколько глубоко Бэринг, вслед за Достоевским, проникся убежденностью в том, что «способность понять все и всех» является фундаментальной чертой русского национального характера, красноречиво свидетельствует его утверждение в «Истоках России»

¹⁴ Подробнее см.: [Королева, 2021, с. 44–162].

о том, что «в русских людях» он любит «универсальное, вечное, великое» — «любовь к человеку и человечеству» и «веру в Бога» (“what I love and admire in the Russian people is <...> something universal, eternal, great — namely, their love of Man and their faith in God”) [Baring, 1914, p. 322].

Влияние Достоевского на суждения Бэринга о Пушкине явно проглядывает и во фрагменте, посвященном образу Татьяны Лариной. Вслед за русским писателем Бэринг утверждает, что Татьяна — «тип всего лучшего, что есть в русской женщине; иными словами, всего лучшего, что есть в России» / “She is the type of all that is best in the Russian woman; that is to say, of all that is best in Russia” [Baring, 1915, p. 76]. Более того, как Достоевский,¹⁵ Бэринг говорит о высшей явленности (превосходящей все последующие попытки) этого типа в образе пушкинской героини: «Ни Тургенев, со всем его волшебным мастерством, ни Толстой, со всем его умением изображать жизнь, не создали более правдивого, более сияющего, более типичного [образа] русской женщины» / “Turgenev, with all his magic, and Tolstoy, with all his command over the colours of life, never created a truer, more radiant, and more typically Russian woman” [Baring, 1915, p. 75–76]. И, развивая эту мысль с опорой на религиозную лексику, интонационно доводит ее до дифирамба: он включает образы, которые сейчас мы относим к «жертвенному типу» героинь, в «длинную галерею [образов] русских женщин, которые были даны нам Тургеневым, Толстым и Достоевским и которые представляют собой наиболее ценное сокровище русской литературы, поскольку в них воплощен венец славы русской жизни» / “She is the first of that long gallery of Russian women which Turgenev, Tolstoy, and Dostoyevsky have given us, and which are the most precious jewels of Russian literature, because they reflect the crowning glory of Russian life” [Baring, 1915, p. 76].

Своеобразным продолжением мыслей Достоевского о Пушкине и истинной его «народности» (русскости) в этом контексте

¹⁵ Ср. у Достоевского: «Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины <...>. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. <...> Отметив тип русского скитальца, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, <...> Пушкин, <...> провел пред нами в других произведениях <...> целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском». См.: [Достоевский, 1972–1990, т. 26, с. 144–145].

становятся тезисы М. Бэринга о «здравомыслии», которым характеризуется и пушкинское творчество, и русский человек вообще, и об особой одаренности русского народа. Оба тезиса озвучены в его книге «Русский народ».

В ней, в частности, утверждается, что свойственный русскому крестьянину здравый смысл (“common sense”) является формой общего «духа позитивизма и реализма» (“spirit of positivism and realism”), который характерен для русского народа и что в этой связи творчество «наиболее романтических русских поэтов» (“the most Romantic poets of Russia”) Пушкина и Лермонтова сближается, скорее, с поэтикой Теккерея и Стендаля, чем Китса и Шелли [Baring, 1911, p. 53]. В этой же книге имя Пушкина возникает в одном ряду с именами Суворова и Петра Первого в связи с утверждением о том, что русские способны «творить чудеса», преодолевая все возможные препятствия и пределы (“he will recognize no obstacles and no limits. He will accomplish miracles”), поскольку в русском народе вообще (и в русских гениях в особенности) есть удивительная черта «экстраординарной» одаренности энергией (“extra flip of energy”) [Baring, 1911, p. 49].

Характеристики пушкинского творчества, заимствованные у Достоевского и приобретенные в 10-е–20-е годы особую русофильскую окраску, стали основанием новых прочтений пушкинского творчества в изменившемся социополитическом контексте 40-х годов. В послевоенной научно-популярной книге «Пушкин и русская литература» (*Pushkin and Russian Literature*, 1947) Янко Лаврина красной нитью проходит мысль о том, что его внимание к русскому поэту объясняется «наиболее животрепещущей связью» его творчества «с английской литературой» / “Special attention has been paid to Pushkin as the most vital link between Russian and English literature” [Lavrin, 1947, p. ix]. В условиях разворачивания противостояния между Британией и Россией (СССР) на начальном этапе Холодной войны творчество Пушкина в книге Я. Лаврина становится инструментом «оправдания» и «возвышения» в глазах британцев русской культуры.

В этой перспективе глава о Пушкине в книге Лаврина закономерно открывается сравнением роли Петра I в исторической судьбе России с ролью Пушкина в развитии русской культуры: «Если Петр I “присоединил” Россию к Европе и, в то же время, сделал ее могущественной державой, то Александр Сергеевич Пушкин <...>

достиг <...> подобных результатов в области русской литературы и <...> русской культуры в целом» / “If Peter I “annexed” Russia to Europe and at the same time turned her into a Great Power, Alexander Sergeyevich Pushkin <...> achieved <...> something similar with regard to Russian literature and, for that matter, Russian culture in general” [Lavrin, 1947, p. 17].

Эту параллель Лаврин объясняет не столько психологическим сходством двух гениев, не столько характером их одаренности, сколько национальным основанием их личностей. Первоначально с имплицитной, а затем и с эксплицитной опорой на «Пушкинскую речь» Достоевского, а также на размышления Мережковского о Пушкине и Петре¹⁶ ученый так поясняет подобие личностей царя и поэта: «Они взаимоподобны в своей широте, в способности ассимилировать [чужое], в интуитивном схватывании духа времени, равно как в русскости характера; <...> их космополитические симпатии не <...> нарушили того, что было сущностно русским в обоих» / “They resembled each other in their broadness, their assimilative power, their intuitive awareness of the Zeitgeist, as well as in their Russian character; <...> their cosmopolitan sympathies did not <...> interfere with what was essentially Russian in both” [Lavrin, 1947, p. 17]. И ниже: «Достоевский выше всего ставил в Пушкине сочетание русского духа с <...> всеобъемлющим универсализмом. Но и в последнем [универсализме] он видели сущностно русскую черту» / “Dostoevsky appreciated in Pushkin <...> above all the fusion of the Russian spirit

¹⁶ Как известно, именно Мережковский ввел в пушкиноведческий дискурс тактику уподобления Пушкина Петру как «первообразу самого поэта», «герою русского подвига»: «Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию», — утверждает Мережковский в статье о Пушкине, написанной в 1896 году и опубликованной в составе нашумевшего сборника «Вечные спутники» (1897). Более того, в статье Мережковского интерпретация третьей песни «Полтавы» полностью стоит под знаком идеи взаимоподобия гениев царя и поэта и сопровождающей ее идеи воплощения в нем «могущества, скрытого в русском народе» [Мережковский, 2007, с. 277, 279]. Воздействие Мережковского приобретает особое значение в английском контексте, поскольку накладывается на избираемую тактику сопоставления малоизвестного с известным (английскому читателю имя русского поэта, конечно, менее известно, чем имя русского царя, несколько месяцев изучавшего в Англии социальные порядки и различные технологии и оставившего по себе яркие воспоминания), а также на тактику подключения имагологических коннотаций: образ Петра I в английской культуре, в целом, оценивается чрезвычайно положительно, за ним закреплены ассоциации с такими смыслами как «“английскость” (с точки зрения определенной демократичности и энергичности)» и «проанглийскость (с точки зрения готовности перенимать английский опыт)» и, соответственно, «прогрессивность», «способность заимствовать чужое и превращать в свое», «способность рационально и кардинально реформировать старое» [Королева, 2021, с. 82–90].

with <...> all-embracing universality. But the latter was regarded by him as an essential Russian feature as well" [Lavrin, 1947, p. 75].

В русле своей центральной идеи Лаврин интерпретирует высказывания Достоевского о Пушкине в логике англоцентричного и одновременно специфического английского русофильского взгляда на русскую литературу: «Достоевский подразумевал, что творчество Пушкина в целом воплощают самый короткий путь к синтезу русской и европейской культур. И поскольку среди тех элементов западной культуры, которые способствовали формированию его творчества и его гения, английская литература сыграла наиболее главную роль, он [Пушкин], кроме всего прочего, является важной связующей нитью между Британией и Россией» / "[Dostoevsky] meant was that Pushkin's work as a whole embodied the nearest approach to that cultural synthesis between Europe and Russia <...> And since among those Western elements which helped to shape his work and his genius English literature played a most important part, he is among other things a vital cultural link between Great Britain and Russia" [Lavrin, 1947, p. 76].

В монографии Ричарда Хаэра общая характеристика творчества Пушкина содержит одну прямую (и неожиданную в обозначенном контексте «освоения» «Пушкинской речи» английскими интеллектуалами) отсылку к знаменитому публицистическому высказыванию Достоевского: о поэме «Цыганы» в ней сказано, что Достоевский «объявил ее самой народной из всех русских поэм» ("Dostoevsky proclaimed it to be the most national Russian poem") [Hare, 1947, p. 32]. Однако в предисловии содержатся размышления, явственно восходящие к тем самым мыслям из «Пушкинской речи» о «народности» и «всечеловечности» Пушкина, которые были взяты «на вооружение» и М. Бэрингом, и Я. Лавриным и включены в силовое поле «ореола Достоевского». Правда, теперь они приложены к общим особенностям русской литературы. Она, по мнению Хаэра, «начиная с Пушкина, обладает одной уникальной чертой»: не только «базируется на различных достижениях зарубежных литератур <...> и одновременно глубоко укоренена в родной почве русской жизни» / "since Pushkin has this unique characteristic. <...> based on the previous achievements of foreign literatures <...>, and at the same time deeply rooted in the native soil of Russian life", но и (несмотря на то, что является «самой молодой из всех великих литератур мира») «имеет высочайшую степень духовной зрелости» ("it was the

youngest of the world's great literatures did not prevent it from being at its best the most spiritually mature") [Hare, 1947, p. viii].

В этом ряду выделяется книга Дж. Бейли (1971) — наиболее поздняя из рассматриваемых английских монографий, внесших вклад в развитие английской пушкинистики. В отношениях с «Пушкинской речью» Достоевского она характеризуется взвешенным аналитическим подходом, что обусловлено сменой научной парадигмы: Бейли отходит от методологии и взглядов культурно-исторической школы, но опирается на сравнительно-исторический метод и методику пристального чтения. Внимание к достижениям советской пушкинистики, вчитывание в текст и глубокое проникновение в разнообразные контексты подталкивает исследователя к дистанцированию от суждений Достоевского. Помещая «Пушкинскую речь» в контекст полемики о русском национальном самосознании, Бейли замечает, что «в истории русской культуры пушкинское творчество является центром, вокруг которого выстраивается полемика о вопросах национального самосознания». И признает за Достоевским правоту в выделении не «всечеловечности» (универсальности) и народности, а реализма как основополагающей черты пушкинского гения: «Как бы ни были отрывочны и эмоциональны рассуждения Достоевского об универсальности пушкинского гения и о его способности духовно перевоплощаться, они так или иначе улавливают кое-что что действительно существенное — пушкинский <...> реализм, способность вообразить и воплотить в своем творчестве исторический процесс и роль, которую сыграли в нем разные классы и отдельные личности» / “In the history of Russian culture Pushkin is the head text for debate on every aspect of the national self-awareness <...> However sketchy and ebullient Dostoevsky's claim for Pushkin's “universality” and power of interpretative localization, it does none the less indicate something of real significance — Pushkin's <...> realism, the imaginative embodiment in art of the historical process, and of the part played in it by classes and individuals” [Bayley, 1971, p. 18].

Таким образом, утверждая, что «Пушкинская речь» Достоевского стала архетекстом английской пушкинистики XX века, я подразумеваю не просто значимость ее воздействия на английских интеллектуалов-пушкинистов и воспроизведение некоторых ее центральных идей (таких как, условно говоря, «Пушкин — гений национальный и универсальный») в их работах о Пушкине. Я также

имею в виду, что контекст отношения к творчеству самого Достоевского в Англии эпохи модернизма как к пророческому призыву, обращенному ко всему человечеству, и как к величайшему проявлению русскости, так же как контекст новых для английской культуры представлений о русском человеке (а в более позднее время контекст Холодной войны и поисков точек соприкосновения русского народа с английским) определяли актуализацию самых разных смыслов и смысловых связей через осмысление и переосмысление «Пушкинской речи». Имагологический контекст, связанный с восприятием России, русской культуры и русского человека в Англии, тесно сплетался с контекстами эстетическим и политическим, что провоцировало не только восприятие Достоевского как «великого русского» (человека, патриота, писателя), но и ассоциирование реализма пушкинского творчества со «здравомыслием» русского народа (М. Бэринг), и восприятие пушкинского творчества как живой связи между русской и европейской культурами, а мысли Достоевского о «единении всемирном» — как мысли об устремленности русской культуры к европейской (Я. Лаврин), и признание за русской литературой, начиная с Пушкина, высочайшей степени духовной зрелости (Р. Хаэр).

Список литературы

1. Володько, 2018 — *Володько А.В.* «Непостижимая связь между нами»: Морис Бэринг и Россия // *Диалог со временем.* 2018. Вып. 64. С. 165–178.
2. Достоевский, 1972–1990 — *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.
3. Ефимов, 2019 — *Ефимов М.* Весьма мучительное свойство. К 80-летию гибели Д.П. Святополк-Мирского // *Звезда.* 2019. № 6. URL: <https://magazines.gorky.media/zvezda/2019/6/vesma-muchitelnoe-svoystvo.html?ysclid=lvq7gwiyyvh928437608> (дата обращения: 04.02.2024).
4. Королева, 2021 — *Королева С.Б.* Миф о России в британской культуре. М.: Флинта, 2021. 384 с.
5. Королева, 2024а — *Королева С.Б.* «Полтава» в английской пушкинистике XX века: канон, парадигма, механизмы // *Вестник НГЛУ.* 2024. № 2. С. 148–161.
6. Королева, 2024б — *Королева С.Б.* Морис Бэринг и А.С. Пушкин: перевод и проблемы формирования литературного канона // *Имагология и компаративистика.* 2024. № 22. С. 88–113.
7. Мережковский, 2007 — *Мережковский Д.С.* Пушкин // *Мережковский Д.С.* Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы. М.: Наука, 2007. С. 229–297.

8. Степанов, 2014 — *Степанов Е.Е.* Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914–1918. М.: Прогресс-Плеяда. 2014. 848 с.
9. Супрун, 2007 — *Супрун Т.Н.* Английские русофилы на рубеже XIX–XX веков. Англичане с русской душой // Виноград. 2007. № 1(17). URL: <https://vinograd.su/education/detail.php?id=42954> (дата обращения: 12.02.2024).
10. Хуснулина, 2018 — *Хуснулина Р.Р.* Переводы К. Гарнетт: открытие Ф.М. Достоевского английскими романистами // Переводческий дискурс: междисциплинарный подход. Материалы II международной научно-практической конференции. Симферополь: Ариал, 2018. С. 600–604.
11. Baring, 1911 — *Baring M.* The Russian People. London: Methuen and Co, 1911. 366 p.
12. Baring, 1914 — *Baring M.* The Mainsprings of Russia. London: Thomas Nelson and Sons, 1914. 328 p.
13. Baring, 1915 — *Baring M.* An Outline of Russian Literature. New York: H. Holt and Co; London: Williams and Norgate, 1915. 256 p.
14. Baring, 1920 — *Baring M.* Dostoevsky // *Baring M.* Poems: 1914–1919. London: Secker, 1920. P. 37.
15. Baring, 1922 — *Baring M.* The Puppet Show of Memory. Boston: Little, Brown and Co, 1922. 457 p.
16. Bayley, 1971 — *Bayley J.* Pushkin. A comparative commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. 378 p.
17. Foster, 1985 — *Foster A.M.* Aspects of the Novel. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1985. 176 p.
18. Hare, 1947 — *Hare R.* Russian literature from Pushkin to the Present day. London: Methuen and Co, LTD, 1947. 258 p.
19. Mirsky, 1926 — *Mirsky D.S.* Pushkin. London: G. Routledge and Sons, LTD; New York: E.P. Dutton and Co, 1926. 266 p.
20. Murry, 1916a — *Murry J.M.* Fyodor Dostoevsky. A critical study. London: Martin Secker, 1916. 264 p.
21. Murry, 1916b — *Murry J.M.* Introduction // Dostoevsky F. Pages from the journal of an author / tr. by S.S. Kotliansky and J.M. Murry. Boston: J.W. Luce and Co, 1916. p. xii–xiv.
22. Lavrin, 1947 — *Lavrin J.* Pushkin and Russian Literature. London: Hodder and Stoughton Ltd, for the English University Press, 1947. 226 p.
23. Pritchard, 1929a — *Pritchard F.H.* (ed.) Great essays of all nations. London [etc.]: George G. Harrap & Co., Ltd., 1929. 1017 p.
24. Pritchard, 1929b — *Pritchard F.H.* (ed.) From Confucius to Mencken. New York: Harper & Brothers, 1929.
25. Rogachevskii, 2000 — *Rogachevskii A.* Samuel Kotliansky and the Bloomsbury Circle (Roger Fry, E.M. Forster, Mr and Mrs John Maynard Keynes and the Woolfs) // Forum for Modern Language Studies. 2000. Vol. XXXVI. № 4. P. 368–385.
26. Strachey, 1965 — *Strachey L.* Dostoevsky // Strachey L. Spectatorial Essays. New York, Harcourt: Brace & World, 1965. P. 174–182.

References

1. Volod'ko, A.V. "‘Nepostizhimaia sviaz’ mezhdu nami’: Moris Bering i Rossiia" ["‘The Secret Link Between Us’: Maurice Baring and Russia"]. *Dialog so vremenem*, no. 64, 2018, pp. 165–178. (In Russ.)
2. Dostoevskii, F.M. "Pushkin (ocherk)" ["Pushkin (An Essay)"]. Dostoevskii, F.M. *Sobranie sochinenii: v 15 tomakh* [Collected Works: in 15 volumes], vol. 14. Leningrad, Nauka, Leningradskoe otdelenie Publ., 1995, pp. 425–440. (In Russ.)
3. Efimov, M. "Ves'ma muchitel'noe svoistvo. K 80-letiiu gibeli D.P. Sviatopolk-Mirskogo" ["A Very Painful Feature. To the 80th Anniversary of D.S. Mirsky's Death"]. *Zvezda*, no. 6, 2019. Available at: <https://magazines.gorky.media/zvezda/2019/6/vesma-muchitelnoe-svoistvo.html?ysclid=lvq7gwiyvvh928437608> (Accessed 04 Feb. 2024). (In Russ.)
4. Koroleva, S.B. *Mif o Rossii v britanskoi kul'ture* [The Myth of Russia in British Culture]. Moscow, Flinta Publ., 2021. 384 p. (In Russ.)
5. Koroleva, S.B. "‘Poltava’ v angliiskoi pushkinistike XX veka: kanon, paradigma, mekhanizmy" ["Poltava in English Pushkin Studies of the 20th Century: Canon, Paradigm, Mechanisms"]. *Vestnik NGLU / LUNN Bulletin*, no. 2, 2024, pp. 148–161. (In Russ.)
6. Koroleva, S.B. "Moris Bering i A.S. Pushkin: perevod i problemy formirovaniia literaturnogo kanona" ["Maurice Baring and A.S. Pushkin: Translation and Problems of the Literature Canon Development"]. *Imagologiya i komparativistika*, no. 22, 2024, pp. 88–113. (In Russ.)
7. Merezhkovskii, D.S. "Pushkin" ["Pushkin"]. Merezhkovskii, D.S. *Vechnye sputniki. Portrety iz vseмирnoi literatury* [Eternal Companions. Portraits from World Literature]. Moscow, Nauka Publ., 2007, pp. 229–297. (In Russ.)
8. Stepanov, E.E. *Poet na voine. Nikolai Gumilev. 1914–1918* [A Poet at War. Nikolai Gumilev. 1914–1918]. Moscow, Progress-Pleiada Publ., 2014. 848 p. (In Russ.)
9. Suprun, T.N. "Angliiskie rusofily na rubezhe XIX–XX vekov. Anglichane s russkoi dushoi" ["English Russophiles on the Verge of the 20th Century. Englishmen with a Russian Soul"]. *Vinograd*, no. 1 (17), 2007. Available at: <https://vinograd.su/education/detail.php?id=42954> (Accessed 12 Feb. 2024). (In Russ.)
10. Khusnulina, R.R. "Perevody K. Garnett: otkrytie F.M. Dostoevskogo angliiskimi romanistami" ["Translations of K. Garnett: The Discovery of F.M. Dostoevskii by English Novelists"]. *Perevodcheskii diskurs: mezhdistsiplinaryi podkhod. Materialy II mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii* [Translation Discourse: Interdisciplinary Approach. Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference]. Simferopol, Arial Publ., 2018, pp. 600–604. (In Russ.)
11. Baring, Maurice. "Dostoevsky." Baring Maurice. *Poems: 1914–1919*. London, Secker, 1920, p. 37. (In English)
12. Baring, Maurice. *The Mainsprings of Russia*. London, Thomas Nelson and Sons, 1914. 328 p. (In English)
13. Baring, Maurice. *An Outline of Russian Literature*. New York, H. Holt and Co; London, Williams and Norgate, 1915. 256 p. (In English)
14. Baring, Maurice. *The Puppet Show of Memory*. Boston, Little, Brown and Co, 1922. 457 p. (In English)
15. Baring, Maurice. *The Russian People*. London, Methuen and Co, 1911. 366 p. (In English)

16. Bayley, John. *Pushkin. A Comparative Commentary*. Cambridge, Cambridge University Press, 1971. 378 p. (In English)
17. Foster, Edward Morgan. *Aspects of the Novel*. San Diego, Harcourt Brace Jovanovich, 1985. 176 p. (In English)
18. Hare, Richard. *Russian Literature from Pushkin to the Present Day*. London, Methuen and Co, Ltd, 1947. 258 p. (In English)
19. Mirsky, D.S. *Pushkin*. London, G. Routledge and Sons, LTD; New York, E.P. Dutton and Co, 1926. 266 p. (In English)
20. Murry, John Middleton. *Fyodor Dostoevsky. A Critical Study*. London, Martin Secker, 1916. 264 p. (In English)
21. Murry, John Middleton. "Introduction." Dostoevsky, F. *Pages from the Journal of an Author*. Tr. by S.S. Kotliansky and J.M. Murry. Boston, J.W. Luce and Co, 1916, pp. xii–xiv. (In English)
22. Lavrin, Janko. *Pushkin and Russian Literature*. London, Hodder and Stoughton Ltd, for the English University Press, 1947. 226 p. (In English)
23. Pritchard, F.H., editor. *Great Essays of All Nations*. London [etc.], George G. Harrap & Co., Ltd., 1929. 1017 p. (In English)
24. Pritchard, F.H., editor. *From Confucius to Mencken*. New York, Harper & Brothers, 1929. 1015 p. (In English)
25. Rogachevskii, A. "Samuel Kotliansky and the Bloomsbury Circle (Roger Fry, E.M. Forster, Mr and Mrs John Maynard Keynes and the Woolfs)." *Forum for Modern Language Studies*, vol. XXXVI, no. 4, 2000, pp. 368–385. (In English)
26. Strachey, Lytton. "Dostoevsky." Strachey, Lytton. *Spectatorial Essays*. New York, Harcourt, Brace & World, 1965, pp. 174–182. (In English)

Статья поступила в редакцию: 01.12.2024
Одобрена после рецензирования: 26.12.2024
Дата публикации: 25.03.2025

The article was submitted: 01 Dec. 2024
Approved after reviewing: 26 Dec. 2024
Date of publication: 25 Mar. 2025